



Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

Чаадаев (1794—1856)

Adveniat Regnum Tuum.

I

В прошлом году исполнилось столетие со дня рождения Петра Яковлевича Чаадаева (1794—1856) — и никто об этом не вспомнил; в будущем исполнится шестидесятилетие со дня его смерти (1856—1916), и никто, вероятно, не вспомнит. Хотя у нас теперь столько годовщин, сколько на кладбище памятников, но Чаадаев забыт: на таких людей память у нас коротка.

«Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или том, что его не будет, — все равно надобно было проснуться». Так описывает Герцен впечатление от «Философического письма» Чаадаева (1836).

«Никогда с тех пор, как в России стали писать и читать, никакое литературное или ученое событие не производило такого огромного влияния, не разносилось с такою скоростью и с таким шумом», — замечает другой современник (Жихарев) о том же «Письме».

Это — «мечь», «выстраданное проклятие» России. «Оставьте все надежды». Россия гибнет. Ее прошедшее пусто, настоящее невыносимо, а будущего вовсе нет. Вся она — «только пробел разума, грозный урок, данный народам, — до чего отчуждение и рабство могут довести».

Так понял Герцен Чаадаева; так поняли все — славянофилы и западники, либералы и консерваторы, умные и глупые, честные и подлые.

Поднялась «ужасная суматоха», как в разрытом палкой муравейнике. «Все соединилось в одном общем вопле проклятия и презрения к человеку, дерзнувшему оскорбить Россию».

«Письма Чаадаева — не что иное, как отрицание той России, которую с подлинника списал Карамзин» (кн. Вяземский), — «Чаадаев излил на свое отечество такую ужасную ненависть, которая могла быть внушена ему только адскими силами» (Татищев), — «Обожаемую мать обругали, ударили по щеке...» (Вигель), — «Тут бой рукопашный за свою кровь, за прах отцов, за все свое и за всех своих... Это верх безумия... За что сажают в желтый дом» (кн. Вяземский).

Зывали к митрополиту Серафиму, дабы он обратил внимание на «богомерзкое письмо», где изрыгаются «дерзостные хулы на веру и отечество». Студенты Московского университета выражали попечителю, гр. Строганову, желание «с оружием в руках вступить за оскорбленную Россию». — «Мало было Сибири, каторги, кнута, крепости, чтобы достойно покарать изменника своему Богу и своему отечеству» (маркиз де Кюстин).

Не понял Чаадаева и проницательнейший из русских людей, Пушкин. «Клянусь вам честью, я не хотел бы иметь другое отечество, ни другую историю, чем те, которые дал нам Бог». Как будто Чаадаев хотел иметь другое отечество!

«Поверьте, я больше, чем кто-либо из вас, люблю свое отечество... Но я не умею любить — с закрытыми глазами, с опущенной головой, с немymi устами... Я думаю, что прежде всего мы обязаны отечеству истиной», — ответил он (в «Апологии сумасшедшего») всем своим обвинителям, в том числе и Пушкину.

«Прошлое России было удивительно, настоящее более чем великолепно, а будущее превзойдет все, что может себе представить воображение самое смелое: вот с какой точки зрения должно рассматривать и писать русскую историю», — говорил гр. Бенкендорф, шеф николаевских жандармов. Разумеется, не так любил Россию Чаадаев.

Император Николай Павлович на «Философическом письме» положил резолюцию: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной — смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного».

Вспомнили, что Чаадаев принадлежал к «Союзу Благодеяния» и, может быть, к «Тайному Обществу» 14 декабря, заподозрили связь «Письма» с какою-то «политической сектою», чуть не целым заговором.

Нарядили следственную комиссию, и хотя никакого заговора не открыли, но с виновными расправились жестоко, даже по тому времени: журнал «Телескоп», где напечатано «Письмо», запрещен, редактор Надеждин сослан в Усть-Сысольск, цензор Болдырев отрешен от должности, а Чаадаев объявлен, по высо-

чайшему повелению, «сумасшедшим», о чем послан указ московскому военному генерал-губернатору.

Так повторилась история Чацкого — «горе от ума». И никого не удивила эта небывалая *казнь сумасшествием*.

Только по особой милости не посадили Чаадаева в сумасшедший дом, а отдали под «медико-полицейский надзор».

Он был мудрец, но не мученик. Как это часто бывает с людьми, смелыми в мыслях, он оказался робким на деле. В первые минуты храбрился, объявил, что «не отрекается от своих мыслей и готов их подписать кровью», — но потом не выдержал.

«Прочтя предписание (о своем сумасшествии), — доносил Бенкендорфу начальник московского корпуса жандармов, — он смутился, чрезвычайно побледнел, слезы брызнули из глаз, и не мог выговорить ни слова. Наконец, собравшись с силами, трепещущим голосом сказал: “Справедливо, совершенно справедливо!” И тут же назвал свои письма “сумасбродными, скверными”».

«Чаадаев сильно потрясен постигшим его наказанием, — общал А. И. Тургенев, — сидит дома, похудел вдруг страшно, и какие-то пятна на лице... Боюсь, чтобы он и в самом деле не помешался».

«Я должен видеть у себя ежедневно господ медиков, ex officio меня навещающих, — вспоминал сам Чаадаев. — Один из них, пьяный штаб-лекарь, долго ругался надо мною самым наглым образом».

(Этот пьяный штаб-лекарь, ругающийся над сумасшедшим философом, — не вечный ли символ русского просвещения?)

«Развязки пока не предвижу, да и, признаться, не разумею, какая тут может быть развязка. Сказать человеку: “Ты с ума сошел” — немудрено; но как сказать ему: “Ты теперь в полном разуме”?.. Земная твердость бытия моего поколеблена навеки».

Через год надзор был снят, под условием «не сметь ничего писать».

II

Чаадаев не помешался, но существование его было «опрокинуто»: никогда уже не мог он оправиться: замкнулся в себе, ушел в свою скорлупу, застыл, окаменел — как бы умер живо — и остальные двадцать лет жизни провел в Москве — «Некрополисе», Городе Мертвых, — как мертвый.

Как труп, в пустыне я лежал...¹

«Моя смешная жизнь... всегда в самом печальном бывает смешное», — говаривал он с горькой улыбкою. Казнь сумасшествием — казнь смехом — это клеймо осталось на нем. «Басманный мудрец», «плешивый лжепророк», «дамский философ», «старых барынь духовник, маленький аббатик».

Все кричат ему привет
С оханьем и писком;
А он важно им в ответ:
«Dominus vobiscum!»*²

Он человек своего времени — отставной лейб-гвардии Гусарского полка штаб-ротмистр, русский барин-помещик (хотя и продал свое имение, чтобы не владеть «рабами»), избалованный, изнеженный, ленивый и праздный, весь в долгу как в шелку.

Смолоду красовец и щеголь, до конца дней чрезмерно заботится о своей наружности. «Совершенная кокетка: по часам просиживал за туалетом, чистил рот, ногти, притирался, мылся, холил, прыскался духами».

Мнителен, как все ипохондрики (в молодости лечился от «гипохондри», как от настоящей болезни). Боялся холеры до смешного. «Мне все кажется, что он немного тронулся... Деликатно хочу напомнить ему, что можно и должно менее обращать на себя и на das liebe Ich** внимания (менее ухаживать за собою, не повязывать пять галстуков в утро, менее холить свои ногти и зубы и свой желудок... Тогда и холеры, и геморроя менее будем бояться» (А. И. Тургенев).

Детски тщеславен и суетен. Любит, чтобы «вся Москва» вельможно-вольнодумная съезжалась на его понедельник. «Он принимал посетителей, сидя на возвышенном месте, под двумя лавровыми деревьями в кадках; справа находился портрет Наполеона, слева — Байрона, а напротив — его собственный, в виде скованного гения» (Вигель). По этой карикатуре, не столько злой, сколько злобной, можно судить, какие легенды ходили о нем.

С годами все больше опускался, погружался в «обломовщину». Зимой и лето проводил безвыездно в своей квартире на Новой Басманной, в одном из флигелей дома Левашовой (в другом флигеле жил М. Бакунин и часто бывал у соседа). За тридцать лет ни разу не ночевал за городом. Все не мог собраться перекура-

* «Господь с вами!» (лат.). — Примеч. сост.

** это любимое Я (нем.).

сидеть у себя полы и стены, поправить печи. Дом разрушался от ветхости, пугая своим косым видом хозяина и его посетителей.

Почти никуда не выходил. «Выхожу только для того, чтобы найти минуту забвения в тупой дремоте Английского клуба» (1845).

До какого малодушия он способен был доходить, видно по истории с Герценом. Когда в одной из своих заграничных книг [«О развитии революционных идей в России» (Париж, 1851)] Герцен упомянул о Чаадаеве, тот перепугался не на шутку, написал по начальству унижительное оправдание, называя сочувственный отзыв Герцена «наглой клеветой», а в то же время самого Герцена благодарил и клялся ему в вечной любви. Когда же кто-то удивился этой «бесполезной низости» (*bassesse gratuite*), Чаадаев, подумав немного, сказал: «Надо, мой милый, беречь свою шкуру» (*Mon cher, on tient à sa peau*).

Конечно, все сознавал с неумолимою ясностью, как человек в летаргическом сне, когда его хоронят заживо. Судил себя страшным судом: «Я себя разглядел и вижу, что никуда не гожусь... Но неужто и жалости не стою?»

С виду был спокоен, сдержан, вежлив и холоден — «точно заморожен». Как посторонний наблюдатель смотрел на бегущие мимо дела и лица с «язвительным снисхождением».

«Что бы нам ни готовило будущее, скрестим руки на груди и будем ждать».

Только иногда вырывается у него крик отчаяния: «Мы затопили у себя курную избу, сидим в дыму — зги Божьей не видать...»

«Величайшая глупость — надеяться на что-то, сидя в гнилой трясине, в которую каждое движение все больше погружает...»

Страдал неимоверно. «Бывали минуты, когда я не знал, что со мною будет, и помышлял невольно о самоубийстве».

Так тихо замучен, задушен этот «сумасшедший мудрец».

Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес...³

Шеллинг называл его «одним из замечательнейших людей своего времени». Пушкин считал своим спасителем:

В минуту гибели над бездной потаенной
Ты поддержал меня недремлющей рукой⁴.

«Никогда я тебя не забуду. Твоя дружба заменила мне счастье, — одного тебя может любить холодная душа моя» («Кишиневский дневник», 1821).

И теперь, почти ровно через восемьдесят лет (тоже годовщина: 1836—1916), стоит перечесть «Философическое письмо» —

эти двадцать страничек, которые, подобно стихам Пушкина, не умрут, пока жива Россия, — чтобы убедиться, что Чаадаев — одно из величайших явлений русского духа.

Что-то было в самой наружности его, что «производило необыкновенное впечатленье даже на детей».

Высок ростом, худощав, строен; всегда безукоризненно одет. «Бледное, нежное лицо совершенно неподвижно, когда он молчит, как будто из воску или мрамора»; «чело, как череп голый»; женственно тонкие губы улыбаются насмешливо, а сероголубые глаза смотрят с доброю печальною: «Лучше всего на свете доброта», — говаривал он.

Женщины поклоняются ему. Кажется, только они и знают его как следует.

«Провидение вручило вам свет, слишком яркий, слишком ослепительный для наших потемок... как бы Фаворское сияние, заставляющее людей падать лицом на землю», — писала ему одна из них.

«Я хочу просить вашего благословения... Мне было бы так отрадно принять его от вас коленапоклоненной... Не удивляйтесь и не отрекайтесь от моего глубокого благоговения — вы не властны уменьшить его», — писала другая — Авдотья Сергеевна Норова. Неразделенная любовь к нему свела ее в могилу. Но двадцать лет спустя он вспомнил об этой любви и завещал похоронить себя рядом с Норовой.

Кажется, никогда не любил женщины. Подобно многим русским романтикам 20—30-х годов — Станкевичу, Константину Аксакову, Михаилу Бакунину, — был прирожденный девственник. «Рыцарь бедный».

Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.
С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел...⁵

Какое же это видение?

III

«Всегда человечество, в целом своем, стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великою историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчаст-

нее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей» (Достоевский).

Всемирность — вот главная и, в сущности, единственная мысль Чаадаева. «У меня только одна мысль. Если бы в уме моем случайно оказались другие, — то они, конечно, прилепились бы к этой одной». Но тут не только мысль, — а мысль, чувство и воля вместе — все существо его, вся его «энтелехия», как сказал бы Гете, — то «видение, непостижное уму», от которого он «сгорел душою».

Не поняв этого, ничего нельзя понять в Чаадаеве. «Философическое письмо» — только отрывок, обломок огромного здания. Политический вывод — без религиозной посылки; но, не зная посылки, нельзя понять вывод. Отрицание — без утверждения; но, не зная утверждения, нельзя понять отрицание. Тут глубина сомнения — от глубины веры; но сомнение показано, а вера спрятана. Страшную силу удара почувствовали все, но меча и руки, наносивших удар, никто не увидел. Все услышали «выстрел, раздавшийся в темную ночь», но кто, и в кого, и зачем стреляет — так и не поняли. Вот почему настоящий смысл «Письма» остался неразгаданным.

Смысл его таков.

Церковь римско-католическая наиболее из всех церквей обладает религиозным сознанием всемирности, религиозною волею ко всемирности: недаром «католичество» и значит «всемирность». В течение пятнадцати веков народы Запада под сенью римской церкви жили одною жизнью, как члены одной семьи. Помогали друг другу, друг друга поддерживали и влекли на одном пути к одной цели. Благодаря этим общим усилиям опередили они все остальные народы. Руководимые церковью, в поисках «Царства Божьего» нашли *попутно* все блага земные — науку, искусство, гражданственность. И так был силен этот первый толчок, что он и доньше двигает народы, как всемирное тяготение двигает планеты вокруг солнца.

Россия одна не участвует в общем движении. Христианство, «воспринятое из зараженного источника, из растленной, падшей Византии, отказавшейся от единства церковного», уединило Россию, исторгло ее из тяготения всемирного, бросило в пустое пространство, как метеор блуждающий.

Римская церковь в тысячелетней борьбе с Римскою империей утвердила свободу свою от власти мирской, от государства, — и свобода церкви сделалась источником всех гражданских свобод: «Все политические революции Запада в сущности — революции духовные».

Русская церковь поработилась государству, — и рабство церкви сделалось источником всех наших рабств. Русское социальное развитие — единственное во всемирной истории, в котором все с самого начала стремится к порабощению личности и общества.

Вот почему у нас нет истории в подлинном смысле этого слова. Стоя как бы вне времени, мы лишены чувства всемирно-исторической *непрерывности*. «Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошлого и будущего, среди мертвого застоя... Мы так странно движемся во времени, что с каждым следующим мигом миг предыдущий исчезает для нас безвозвратно».

«Вот почему, одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его... Мы взяли все у других и все исказили... Ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды». — «И кто скажет, когда наконец мы обретем себя среди человечества и сколько бед нам суждено испытать, прежде чем исполнится наше призвание?»

Таково отрицание Чаадаева, услышанная всеми «отходная» России; а вот и утверждение, воскрешающий зов, никем не услышанный: «Пока из наших уст, помимо нашей воли, не вырвется признание во всех ошибках нашего прошлого; пока из наших недр не исторгнется крик боли и раскаяния, отзвук которого наполнит мир», — мы не увидим спасения.

Не проклятие и гибель России, а покаяние и спасение — таков настоящий смысл «Письма» и всех вообще писаний Чаадаева. Это — глас Предтечи, глас вопиющего в пустыне: покайтесь, приготовьте путь Господу.

У нас нет прошлого, зато в настоящем — два огромных преимущества: первое — неопытность, нетронутость, девственность души («открытый лист белой бумаги, на котором ничего не написано», по выражению Мицкевича); второе — возможность использовать опыт наших старших братьев — народов европейского Запада.

Позади нас пустота. Но эта пустота может быть свободой. «Русский человек — самый свободный человек в мире» — в возможности.

«Мы — огромная *внезапность* (spontanéité) без внутренней связи с прошлым, без прямой связи с настоящим». Путь Запада — постепенное развитие, путь *эволюционный*, наш — *революционный*, потому что, в противоположность Западу, мы только и делаем, что разрываем с прошлым.

Россия прежде всех других народов призвана осуществить обетования христианства. Мы еще не начинали жить. Но «настанет день, когда мы займем в духовной жизни Европы такое же место, какое занимаем сейчас в ее жизни политической, и здесь наше влияние будет еще несравненно могущественнее, чем там. Таков естественный плод нашего долгого уединения, ибо все великое зреет в одиночестве и в молчании».

Сила западной церкви — в расширении, во внешнем, общественном, социальном делании; сила церкви восточной — в углублении, в делании личном, внутреннем (аскетическом подвиге). Но это — две половины единого целого. Мы должны соединить религиозную правду личную с религиозной правдой общественной, ибо только в этом соединении полнота христианской истины. А в осуществлении этой полноты и заключается наше призвание вселенское.

IV

О Чаадаеве с большим правом, чем о ком-либо другом, можно сказать: тон делает музыку. Мысли его легко передать, но непередаваем их тон — *звук всемирности*. До него никто в России не говорил таким всемирным голосом. Тут впервые загорается всемирно-историческое сознание России; впервые дается всемирно-исторический разрез национального русского духа. Тут русская река впадает в океан всечеловеческий.

Да, своим обвинителям, славянофилам, Чаадаев имел право сказать: «Я больше, чем кто-либо из вас, люблю мое отечество». Они любят прошлое и хотят сделать его настоящим и будущим. Это значит мало любить Россию, мало верить в нее. Чаадаев любит будущую Россию и верит в нее так, как до него никто не любил и не верил.

«Прекрасная вещь — любовь к родине, но есть еще нечто более прекрасное — любовь к истине. *Не через родину, а через истину ведет путь на небо*». Что истина христианства не национальна, а всемирна — это общее место в отвлеченности; но в действии новизна необычайная, острота невыносимая. Страшные силы национализма топчут всемирность христианства, как степную траву топчет конь Атиллы: где прошел этот конь, там трава не растет. Вот против этой-то страшной силы и восстает Чаадаев.

Это величайшее из всех восстаний человеческих. И не понимающий религиозной глубины Чаадаева Герцен все-таки прав,

когда вписывает имя его в русский революционный синодик. И не правы новейшие исследователи, когда стараются это имя оттуда вычеркнуть.

Пусть для самого Чаадаева политика — в чужом пиру похмелье; пусть малодушно уверяет он, что 14 декабря — «огромное несчастье, отбросившее Россию на полвека назад», — он все-таки учитель и пророк Декабрьского восстания.

Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!⁶

Во всяком случае, имя Чаадаева с этих обломков никто не сотрет.

V

«Недавно мир жил в спокойной уверенности в своем настоящем и будущем... В этом счастливом мире всего мира, в этом будущем я обретал мой собственный мир, видел мое собственное будущее. И вдруг случилась глупость одного человека... И вот спокойствие, мир, будущее — все разлетелось прахом... У меня, я чувствую, слезы навертываются на глаза, когда я смотрю на это великое бедствие старого, моего старого общества. Это всеобщее горе, обрушившееся столь внезапно на мою *Европу*, усугубило мое личное горе», — писал Чаадаев Пушкину по поводу Июльской революции 1831 г.

«Моя Европа» — этого никто из русских и, может быть, даже никто из европейцев не говорил так, как Чаадаев. «У нас две родины — наша Русь и Европа» (Достоевский). Нет, не две, а одна. Одна земля — «земля ничья — земля Божья», — это чувство всемирности — русское народное чувство по преимуществу.

Славянофилам, ученикам немца Гегеля, Чаадаев кажется изменником России, каким-то чужеземным «оборотнем». Но ведь и Петр и Пушкин — такие же оборотни. Способность к превращениям, перевоплощениям из одного национального тела в другое — есть тоже русская способность по преимуществу. «Быть русским — значит быть всечеловеком», — говорит националист Достоевский. И славянофил Тютчев как будто отрекается от родины:

Ах, нет, не здесь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем...⁷

И Герцен, и Бакунин, и Вл. Печерин, и Л. Толстой, и Вл. Соловьев — все они, подобно Чаадаеву, — «русские бегуны», «странники», «здесьнего града не имеющие, Вышнего Града взысующие».

Нет у вас родины, нет вам изгнания...⁸

В них во всех совершается тайна русской безродности, бездомности. Как будто измена родине, а на самом деле наибольшая верность ей. В них во всех совершается тайна русской всемирности.

Всемирность — не космополитизм, не международность — не бледная немочь, бескровность нации, а кровь ее, самая красная, самая жаркая; не отрицание народности, а ее утверждение высшее, ибо только во всемирности народность *исполняется*. Да, все они — самые русские из русских людей.

Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны...⁹

И самый ранний — Чаадаев. Самый несовременный своему времени, самый будущий.

«Совершается великий переворот... Рушится целый мир... Разве это не конец мира?» — пишет он в том же письме к Пушкину об Июльской революции.

Каждый переворот всемирно-исторический есть горный перевал, откуда открывается последний горизонт, конец всемирной истории — то, что христианство называет «кончиною мира», «Апокалипсисом». Чувство всемирности и есть *«чувство конца»*.

Вот почему такая грусть и радость в глазах Чаадаева. Как будто они уже видят то, чего ничьи глаза еще не видели; как будто уже отразилось в них видение Конца.

И в этом он — самый русский из русских людей. На вопрос, что такое русский народ в религиозном смысле, — можно бы ответить: народ, наиболее предчувствующий «конец всемирной истории», наиболее ищущий «всемирного соединения людей» — Града Божьего, Царства Божьего.

«Adveniat Regnum Tuum. Да придет Царствие Твое», — эту молитву всю жизнь твердил Чаадаев.

В наши дни — дни всемирного разъединения людей, всемирной войны — эта молитва самая забытая, невнятная и как будто ненужная. Но «мы не увидим спасения, пока из наших недр не исторгнется крик боли и раскаяния, отзвук которого наполнит мир», — эти слова Чаадаева можно бы повторить сей-

час уже не только о России, но и о всей Европе, о всем человечестве.

Вот почему так близок нам сейчас этот странный человек с бледным и нежным, как из воску, лицом, с глазами радостно-грустными и с вечною молитвою на устах: «Да придет Царствие Твое».

